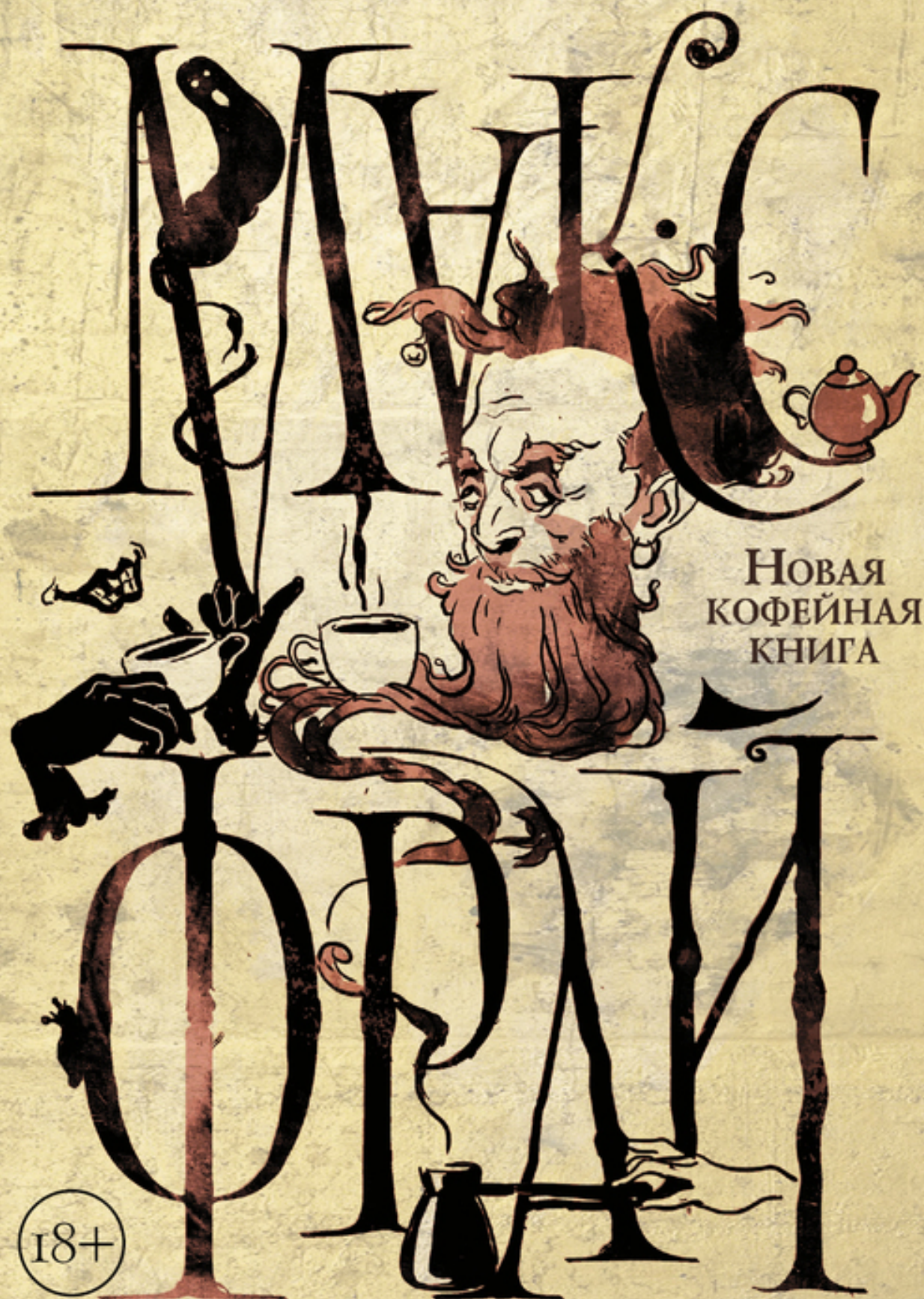


Ксения АГАЛЛИ Александра ЗВОЛИНСКАЯ
Лора БЕЛОИВАН Кэти ТРЕНД Александр ШУЙСКИЙ
Анна ЛИХТИКМАН Константин НАУМОВ



Марина ВОРОБЬЕВА Илья ДАНИШЕВСКИЙ
Нина ХЕЙМЕЦ Ася ДАТНОВА Ольга НЕДОРУБОВА
Татьяна ЗАМИРОВСКАЯ Лея ЛЮБОМИРСКАЯ

Миры Макса Фрая

Лея Любомирская

Новая кофейная книга (сборник)

«АСТ»

2017

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

Любомирская Л. Д.

Новая кофейная книга (сборник) / Л. Д. Любомирская — «АСТ»,
2017 — (Миры Макса Фрая)

ISBN 978-5-17-105381-9

Однажды Маруся Вуль предложила нам собрать «Кофейную книгу» – сборник рассказов, персонажи которых пьют кофе, а авторы рассказывают читателям рецепты его приготовления. Так мы и сделали. С тех пор прошло много лет, и даже подумать страшно, сколько кофе мы все за это время выпили, горького черного и разбавленного молоком. И сколько новых историй успели выслушать и рассказать. Самое время собрать «Новую кофейную книгу» с новыми историями и новыми рецептами. И вечной горечью, которая, как известно, бодрит. Вот она.

УДК 821.161.1-3
ББК 84(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-17-105381-9

© Любомирская Л. Д., 2017
© АСТ, 2017

Содержание

Старший сержант Водорезов	7
Блеск, безумие, беруши	12
Черная кошка, белый стол	14
Бабочки и потроха	24
Разбитая чашка	26
Кривое зеркало	28
Другие обитатели	32
Варшава	37
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Новая кофейная книга

Составитель Макс Фрай

Авторы:

Лея Любомирская, Татьяна Замировская, Лора Белоиван, Александр Шуйский, Ася Датнова, Марина Воробьева, Нина Хеймец, Кэти Тренд, Константин Наумов, Анна Лихтикман, Илья Данишевский, Александра Зволинская, Ксения Агалли, Ольга Недорубова



Книга публикуется в авторской редакции

Оформление Марины Алеф



Старший сержант Водорезов Лора Белоиван

Между широкой федеральной трассой и Южнорусским Овчаровом одиннадцать километров пути по вихлястой асфальтовой двухполоске, бегущей по сопкам сквозь толстый лиственный лес. Дорога сплошь утыкана предупреждающими знаками об опасных поворотах: жестяные треугольники, выхваченные из тьмы светом фар, приветливо сияют навстречу запоздалому путнику, как, случается, сияют пробегающим мимо машинам кладбищенские портреты. Ездить по этой дороге поздним вечером неприятно в любое время года, даже ясной зимой, когда луна поливает как из брандспойта и лес стоит прозрачный и бесконечный во все стороны. Вдобавок ко всему, на протяжении одиннадцатикилометрового пути имеются два глухих участка, где напрочь отсутствует мобильная связь и не ловится радио. Один из этих перегонів находится в трех километрах от выезда на трассу. Когда едешь из города, то проскакиваешь странное место почти не замечая – может быть, потому что преисполнен городских эмоций, создающих помехи, которые не позволяют выхватывать из эфира его тонкие угрозы и предупреждения; когда же едешь из деревни, то дело плохо. Человек, едущий из деревни на ночь глядя, должен быть готов ко всему.

У нас очень не любят отпускать домой засидевшихся городских гостей. Оставляют их ночевать с настойчивостью, переходящей в настырность, ничего при этом не объясняя, лишь приговаривая несуразное: «Ну куда вы ночью, ну нельзя ночью ехать, ну нет, вот здесь мы вам постелем, а утром уж и поедете», но чаще всего гости зевают и соглашаются, а те, у кого дома невыгулянная собака, тех уговаривать бесполезно, но они всегда уезжают раньше и доезжают благополучно. Впрочем, все всегда доезжают благополучно, ничего странного не происходит с гостями по дороге из Овчарова на федеральную трассу, единственным исключением был фотограф Никита, приезжавший к Сонику, чтобы отснять его новые парусоподобные картины и провозившийся до половины четвертого ночи – вот с Никитой случилась непонятная история, – да и как «непонятная»: все ясно как белый день; Никита, сроду не знавший об особенностях наших одиннадцати километров, вдруг смертельно, панически испугался в трех км до выезда на федералку, потому что почувствовал, что в машине, кроме него самого, есть еще кто-то, сидящий на заднем сиденье; Никита рассказывал, что этот «кто-то» очутился в машине внезапно, он угадал момент его появления позади себя, как будто неведомый пассажир запрыгнул в машину на ходу, просочился сквозь задраенные окна и ехал, держась руками за подголовник водительского кресла и дыша ему, Никите, в затылок ледяным дыханием. Никита рассказывал, как два взаимоисключающих желания боролись в нем: съехать на обочину и остановиться, чтобы выйти из машины и обследовать ее салон – и никуда не съезжать, ни в коем случае не останавливаться и даже не смотреть в зеркало; тем более не смотреть в зеркало.

Никита остановился через 800 метров после выезда на трассу, включил аварийную подсветку и принялся последовательно срывать с себя куртку, пиджак, рубашку и футболку – последние два слоя одежды были насквозь мокрыми, пришлось надевать пиджак на голое туловище.

– Я кого-то подвез, – рассказывал потом Никита Сонику, – натурально: почувствовал, как он исчез. Почти на самом повороте. Раз – и нет никого. Что у вас там, в этом месте, не знаешь? Не где поворот в смысле, а за три километра до.

– Никто не знает случайно, что у нас там за три километра до трассы? – спросил Соник завсегдатаев кафе «Синий ара».

– Вообще я что-то такое тоже чувствовал пару раз, – сказал Захаров, – но в основном еду себе и еду. А я часто ж поздно домой. Тьфу. Соник! Вот зачем рассказал? Теперь бояться буду. Икону повешу. И крест. И лампаду.

Все вежливо хмыкнули, изображая смех.

– Что-то такое я слышал, не помню, кто-то из местных рассказывал же, – сказал Владыч, – что херня там какая-то происходит иногда. А, вспомнил – машины там бьются часто. Но это про другое. Там дорога неправильно сделана – на повороте у нее уклон в другую сторону, это глазами даже видно.

– Кстати, да, – сказал Жмых, – натурально уклон не туда.

– И все-таки не про уклон речь, – констатировал Соник.

– Так, – сказала Анна, – мне, между прочим, послезавтра в аэропорт к четырем ночи надо.

– Анна, давайте я с вами поеду, – предложил Жмых, – сяду на заднее сиденье.

– Ага, а я посмотрю в зеркало, а там вместо вас прозрачная фигура в капюшоне, – ответила Анна.

– А давайте мы все с вами в аэропорт поедem? – предложил Соник, – все, поди, не превратимся. А зачем вам, кстати, в аэропорт?

– Вот, кстати, тоже хотел спросить, – сказал Владыч.

– Мамину подругу встречаю, – сообщила Анна нехотя, – из Питера прилетает.

– К вам? – осторожно уточнил Жмых.

– Нет, – поежилась Анна, – к своим кому-то. Мне везет что-то ценное. Мама передала.

– Ну, хорошее дело, – сказал Жмых, – так что, нельзя с вами в аэропорт?

– Нельзя, – кивнула Анна, – да я придумаю что-нибудь. Ну, приеду туда вечером, посплю на парковке в машине, обратно ехать уже по утру практически, пока багаж, пока то-се.

– Ну это куда ни шло, – согласился Жмых, – но если передумаете, то свистите в любое время. Или хотите машину сопровождения?

– Две машины, – предложил Захаров, – одна впереди, одна сзади, вы в середине.

– Четыре машины, – сказала Анна, – не выдумывайте. Точно, поеду вечером, так что имейте в виду, послезавтра не работает лавочка.

– Дура, почешу арочку, – встрепнулся гиацинтовый ара.

Анна посмотрела на попугая.

– Ээээ... Нет, слушайте, я вам завтра ключ оставляю, – сказала она, – вы тут сами. Ложечки только не воруйте.

О том, что собиралась ехать в аэропорт в безопасное вечернее время, Анна не то чтобы забыла или передумала, а просто так получилось.

– Я проспала! – рассказывала она, – я на минуточку только глаза прикрыла, было десять вечера, просыпаюсь – два ночи! Прямо в кресле, в одежде верхней, я выходить уже собиралась, машину завела и собиралась выходить, я даже не понимаю, почему я в кресло это залезла, с ногами причем!

Звонить Жмыху или кому-то еще Анна посчитала грубостью. Но дело было даже не в этом, а в том, что она не ощущала ни малейшего трепета или тревожного предчувствия по поводу дороги – со всей ее репутацией. Моя машина – моя крепость; удобный руль, уютное свечение приборной доски, сиденье с подогревом; взяла с собой кружку-термос с кофе – что может быть безопаснее и надежнее, чем кружка кофе в гнезде над пепельницей; включила канал с хитами 80-х, поехала.

Только что прошел дождь. Лес по обе стороны дороги был черен и спокоен, асфальт мягко, без всплесков, лился под колеса, по салону плыл сладкий Modern Talking. После Modern Talking сразу дали Шевчука, после Шевчука, километров через пять, появилась и исчезла позади встречная машина, еще через километр Анна увидела в зеркало приближающийся свет фар, кто-то ехал очень быстро, нагонял – нагонял, нагнал, обогнал, исчез впереди за поворотом; еще через полтора километра зашипело и закаркало радио; в этот же миг Анна заметила, что машина теряет скорость. Педаль газа проваливалась в пол, не имея больше никакого влияния на процесс. Проехав по инерции до очередного подъема в сопку, машина остановилась и стала скатываться обратно. Анна вырулила к обочине, переключилась на паркинг и достала телефон: ни одной антенны.

Двигатель продолжал работать тихо и ровно, приборы показывали абсолютную норму, машина была в порядке – только не ехала. Анна почувствовала, что вокруг нее, снаружи – пока еще снаружи – что-то происходит. Сгущается. Нарастает. Приближается. В зеркале заднего обзора мелькнула тень. Боковым зрением Анна заметила еще одну тень слева от машины. Тени двигались, пропадали, но не исчезали, а как будто прятались – до поры – не желая быть обнаруженными раньше времени. Раньше какого времени? Анна отбросила телефон на пассажирское сиденье, схватила кружку с кофе, вцепилась в нее обеими руками и начала пить – квадратными, остроугольными глотками, не глядя ни по сторонам, ни вперед, ни назад. Когда кофе был почти выпит – на дне кружки оставался едва ли глоток – впереди на дороге мелькнул, пропал, затем подсветил небо свет фар – кто-то уже въехал на подъем, вот-вот перевалит его и будет здесь.

Дальнейшее произошло быстро. Встречная машина перевалила сопку и через несколько секунд уже стояла борт о борт с Анной. «ГАИ», – прочитала Анна на синей полосе прибывшего автомобиля. Это были «Жигули». Из «Жигулей» вышел человек и сказал, обращаясь к кому-то позади Анниной машины:

– Расходимся, расходимся, расходимся, – а затем постучал в окно к Анне и спросил: – чего стоим?

Анна продолжала сидеть, вцепившись в кружку, на дне которой еще оставался глоток кофе.

– Старший сержант Водорезов, – представился гаишник, – вы пьяны?

– Нет, – ответила Анна, – нет. Сейчас документы.

– Я видел, – почему-то сказал гаишник и снова спросил: – почему стоим? Езжайте.

– Не едет, – сказала Анна, – газ проваливается.

– Так не бывает, – усомнился сержант Водорезов, – почти. Попробуйте еще.

Анна нажала на газ, двигатель взревел на холостых оборотах, педаль отыграла упруго и мягко.

– Ну вот, все едет, – сказал гаишник, – счастливого пути.

– Спасибо, – сказала Анна, – спокойной ночи.

В аэропорт она приехала с кружкой в руке. Так и рулила – в одну с половиной руку. Заметила это лишь тогда, когда надо было забрать парковочный талон из автомата. Допила остывший остаток, поставила кружку в гнездо, взяла талон, въехала на парковку, взяла пустую кружку назад и пошла внутрь аэропорта – искать автомат с кофе. Нашла. Скармила автомату сотенную бумажку и даже не обратила внимания, что из зоны прибытия начали выходить пассажиры; обернулась на имя.

– Анечка! Тут я! Ой, как ты выросла, с ума сойти, ой дай я на тебя посмотрю!

Анна вспомнила, как зовут материну подругу – тетя Тома.

– Вы тоже, – сказала она не очень кстати, – то есть, я хотела сказать, дайте я тоже на вас посмотрю.

– Ай, чего на меня смотреть, – сказала тетя Тома, – пойдем-ка в сторонку отойдем на улице где-нибудь, я тебе отдам кое-что.

Анна постепенно возвращалась в настоящую безопасную реальность, глядя, как тетя Тома ставит чемодан на бетонную дорожку, распаковывает багаж и отделяет от него увесистый сверток.

– Топор твоего отца, – сказала она, вручая сверток Анне, – ну все, девочка моя, вон я вижу, меня встречают, пока-пока-пока!

В одной руке с топором в желтой оберточной бумаге, перемотанной скотчем, и с пустой кружкой – в другой, Анна вернулась в машину и посмотрела на время – 04:20.

– Вопрос первый: сколько я простояла на дороге? Вопрос второй: почему – топор? Вопрос третий: почему гаишник был в советских «Жигулях» и в советской гаишной форме? Хотя чего я.

Завсегдатаи «Синего ары» сидели вокруг столика, в центре которого лежал топор.

– У меня один ответ точно есть, – сказал Жмых, – про топор.

– Какой? – Анна с надеждой смотрела на Жмыха.

– Ну, просто хорошая вещь, – сказал Жмых, – наследственная, тем более.

– О господи, – сказала Анна, – вот он мне зачем?

– Мы этого пока не знаем, – ответил Жмых, – но не исключено, что узнаем.

– А про гаишника этого? Водорезова старшего сержанта? – спросил Соник.

– Вот это, кстати, надо выяснить, – сказала Анна, – он меня спас.

– Вас, Анна, спас мертвец, по всей видимости, – сказал Владыч.

– Тоже так подумал, – кивнул Жмых.

– Да это-то понятно, – сказала Анна, – вопрос – от кого?

– Вопрос, действительно ли мы хотим это знать, – сказал Соник.

– Господи, какая долбанутая деревня, боже мой, – сказала Анна, – и, кстати, двух ложек все-таки не хватает.

У Анны дома обычный френч-пресс на 400 мл и электрическая кофемолка «Бош», сделанная, как и весь мир, в Китае. Анна любит смесь мокко и арабики 1:1. Заваривает только свежий помол, пока не улетучился запах. Рецепт очень прост: содержимое полной кофемолки высыпать в колбу френч-пресса, залить крутым кипятком, выждать 3 минуты и медленно опустить пресс. В дорожный вариант Анна кладет столовую ложку сахара без горки и никогда не добавляет в кофе кардамон, потому что терпеть его не может.



Блеск, безумие, беруши

Анна Лихтикман

Я просыпаюсь от воя, лязга и скрежета. Кто-то в небе бьет в ржавые литавры. Кто? Зачем? И в тысячный раз я вспоминаю, что все никак не выберусь купить беруши, что наш дом, наш 108 алеф стоит рядом с арабской деревней, что сейчас, должно быть около четырех утра, и что на верхушке минарета укреплены усилители и скрежет – это какие-то звуковые помехи, а вой – это молитва.

Я заснула прямо на диване в квартире Авишаг, моей соседки. Она позвала меня к себе на десятый этаж, выпить кофе и поболтать. Потому что «мы женщины и должны пить кофе, ведь правда же?» Видимо, мы заболтались. А потом я отключилась на диване. В черном окне отражается красный абажур и журнальный столик, на котором, словно резная избушка на тигриных ножках, стоит марокканский кофейник. Вчера вечером Авишаг встретила меня на пороге своей квартиры. В своем красном, атласно-адидасном спортивном костюме и бирюзовых шлепанцах, она напоминала тропического моллюска, но я тут же забыла о ней, потому что всякий, кто заходит к Авишаг, забывает обо всем, увидев ее окно. Оно огромное, во всю стену. Подходишь, и глазам делается странно, словно перед тобой развесили выпцветшую мятую ткань. Это холмы. Наш дом 108 алеф – каменный суслик, стоит на задних лапках, на самом краю Иерусалима. Стоит и слушает пустыню. А ночью все по-другому: нет никакой пустыни, есть огромная просторная темнота, дающая себя рассмотреть, и повисшие в этой темноте тысячи огней.

Авишаг не дала мне полюбоваться видом. Она ведь по делу меня пригласила. Она кое с кем познакомилась, и ей срочно нужно посоветоваться. Вроде бы мужик ей нравится. Его зовут Артиум. Ему шестьдесят три (столько же, сколько и ей). У него нет машины, и это не понравилось Авишаг, зато он хорошо одет: «белые брюки и белые лаковые туфли», и это не понравилось мне. Ах да! Артиум – русский. «Как, ты не знаешь? Разве это не русское имя?» И еще она вроде хотела показать мне какую-то книгу, которую он написал, но тут я бездарно заснула. На журнальном столике несколько распечатанных на принтере листков, соединенных скрепками. На обложке большими буквами заглавие «Основы гигиены воды» Плохо, совсем плохо! Дядечка Артиум в белых лаковых туфлях либо излагает теорию заговора, либо повернут на эзотерике. Я переворачиваю страницу. За обложкой следует титульный лист с именем автора: Артем Коган. Артем! Наверняка он так и представился, а Авишаг услышала античное «Артиум». Уж насколько мое имя простое: «Лена» а как его только не выговаривают: Льена, Иена, Лана... Если Артиум оказался Артемом, то, может, и «Основы гигиены воды» окажутся всего лишь дельным руководством по водным процедурам?

Первая глава называется «Учимся пить». Вторая – «Программирование воды» Читаю: «воды, через три часа треть и еще треть», «энергетика влаги», «силы плеска...» Мне кажется, что с каждым прочитанным словом я делаю шаг по лунной дорожке чужого безумия. Нужно сказать Авишаг, чтобы не подходила к телефону, зачем ей этот псих. Но и сама-то она, по правде говоря, сумасшедшая. Взять хотя бы это знакомство по объявлению, при живом-то интернете! Я как раз была у нее, когда она выудила ту газету двухлетней давности. Ею был выстелен один из кухонных ящиков, и «высокий, худой, романтичный» был весь залит какой-то липкой гадостью. Я сказала Авишаг: «Посмотри на дату! Он, наверное, давно уже женат». А она: «Глупости! Такие идиоты быстро не женятся. Какая нормальная женщина ему позвонит?» И тут же выпроводила меня, чтобы позвонить романтичному. Да, безусловно, она сумасшедшая. Она, ее оранжевая грива, ее расшитые серебром шлепанцы цвета «туркиз», ее кофейник, сорок лет скитавшийся по пустыне на своих чудных ножках и доковылявший в конце-концов до Иерусалима.

Я представляю себе весь наш дом, наш 108 алеф, что стоит каменным сусликом на краю пустыни. Я вижу его изнутри – десять лестничных площадок-позвонков, нанизанных на ось, по которой движется вверх-вниз наш лифт. Сосед с первого этажа выходит выносить мусор в одном тапке. Кто-то на втором расписал все стены красными полосками, женщина с третьего каждый день сидит у открытой двери и смотрит на пустую лестничную клетку. Парень с пятого сам рассказал мне, что спит с включенным светом, потому что это полезно его аквариумным рыбкам. Он же спрашивал у рава с шестого этажа, должны ли его рыбки поститься в Йом Кипур. И рав с шестого этажа спокойно ответил, что нет, не должны, потому что рыбки не евреи. Десять этажей, десять позвонков, скрепленных сухожилиями лестниц и нервные волокна безумия, которые тянутся через все этажи.

Я подхожу к окну. Там все еще ночь. Золотые огни поселений, перепутаны, как нити желтого жемчуга, раскиданные по бархатным черным подушкам, а арабские деревни переливаются неоновым светом, словно выброшенные на ночные холмы голубые медузы. Сумасшедший вид. Сумасшедшие огни... Сумасшедший лай доносится откуда-то снизу, затем слева, и вдруг прекращается, словно собаку проглотили. И за всем этим встает кто-то огромный и, безусловно, окончательно и бесповоротно сумасшедший, кто каждую ночь рассыпает огни, не потрудившись хотя бы слабой линией, хотя бы намеком обозначить небо и землю. Кто-то кто делает это давно и съел на этом деле тысячу собак, тысячу синих собак, с глазами, как медные подносы. Съел – и не подавился. И он же, повинувшись внезапной прихоти, вдруг решает не дорисовывать, оставить по бокам черную пустоту. Он доверяет эту пустоту нам. Ведь мы, жители дома 108 алеф, – сумасшедшие, и, вздумай мы поведать кому-нибудь, что справа или слева внезапно заканчивается мир, нам все равно никто не поверит.

Марокканский кофе подается в маленьких стеклянных стаканчиках, напоминающих скорее стопку, чем кофейную чашку. Стаканчик иногда украшен золотым узором у доньшка. Легко догадаться, что такой кофе не призван никого бодрить, хотя он сварен по всем правилам.

Черная кошка, белый стол

Анна Лихтикман

Окошко чата вдруг булькнуло и выдало письмо.

«Здравствуйте, я – Лайла Сегель, редактор «Делит». Мы хотели бы с вами сотрудничать».

«Очень приятно, Лайла», – написал я. Было неудобно, что я сижу перед монитором в трусах и носках. Особенно в носках, – недавно я прочел, что мужчины, которые не стесняются показаться миру в носках, лишены самоиронии. Но я ведь и не показываюсь, камеры у меня нет. И все-таки.

«Ау! Вы там, Натан?»

– Да, – ответил я. Буду рад сотрудничать, я готов.

«Отлично! Напишите нам что-нибудь про современность, про психологию, про отношения».

«Только у нас, к сожалению, небольшой бюджет».

«Времена тяжелые», – теперь она писала короткими отрывистыми предложениями, которые выплывали и выстраивались в чате, словно голубые плоты.

Я потянулся было к клавиатуре, но опрокинул кофе. На столе образовалось пятно, похожее на черного страуса.

«...сократились».

«Вы ведь слышали, наверное, что нас чуть не закрыли?»

Я достал из ящика салфетки, промокнул страуса и пошел за тряпкой; кофе капал на пол. Когда я вернулся, в чате висело еще целых три плота.

«Почему, собственно, я должна оправдываться?» – писала Лайла.

«Это наш бюджет».

«Он таков, ничего не поделаешь».

– Я понимаю.

Я с детства знал, что мало кому из писателей удастся зарабатывать деньги, а к моменту поступления в универ было ясно, что зарабатывать вообще мало кому удастся, и мне крупно повезло, что я так люблю программировать. Я могу заниматься этим всю жизнь, и мне не надоест. Но год назад наш факультет чуть не перенесли в другое здание, находящееся вообще за пределами кампуса, туда нужно было бы ехать через весь город. Я написал в нашу университетскую газету шуточную антиутопию, в которой показывалось, как после переезда факультета,

университет начинает разрушаться, а за ним и весь город, потом весь мир. Мы тогда победили, и факультет оставили в покое. Я написал еще несколько фантастических рассказов, и их взяли в «Кампус-три». Потом я написал не фантастический рассказ об одном парне. Потом я написал о себе.

Учебный год закончился, я засел было за докторат, но тут оказалось, что мне необходимо, чтобы день начинался с чириканья клавиатуры. В этом звуке было что-то легкое, что было к лицу моему утру. Это была ложная легкость. Натан Бринкер, пишущий слова, оказался замкнутым и нетерпимым существом.

Он не выносит, когда ему заглядывают через плечо. Открыв холодильник, вдруг зависает и долго смотрит на пачку масла. Иногда он записывает что-то корявым почерком на бумажке, а потеряв ее, приходит в ужас от того, что кто-то найдет и прочтет эти несколько бессвязных предложений, словно там признание в убийстве.

Сидя в своей пустой квартирке, Натан Бринкер болезненно морщится от любого шума, доносящегося с улицы, и наконец, со странным мстительным удовольствием надевает звукоизоляционные наушники, которые стоят как подержанный мерседес. Он улыбается, чувствуя как два потока тишины, сливаются в озеро, где-то в районе лба. Теперь, сквозь прозрачную воду можно разглядывать камешки на дне.

Камешки – это слова.

«...тысячу знаков примерно, можно больше».

«Раз в неделю».

Лайла засылала новую флотилию голубых плотов, на одном из них – казалось, что он слегка покачивается на воде – была написана сумма, которую я уже мрачно предчувствовал, а на других пожелания:

«...материалы о людях»;

«секс, психология»;

«абсурд»;

«смешные случаи».

– Понял, – ответил я. – Попробую, договорились.

Секс, абсурд, психология...

Секс вот-вот исчезнет, потому что Рути рано или поздно надоест ждать, когда мы съедемся. Мы время от времени обсуждаем, как заживем вместе, а на днях даже слегка поссорились. Оказалось, что она не представляет себе семьи без большой лохматой собаки, а я не выношу шерсти на полу, обслюнявленных игрушек и запаха сухого корма.

Предполагалось, что мы начнем жить вместе, когда я закончу учебу и возьмусь за докторат, но я все еще не начал его писать. Говорю Рут и родителям, что делаю одну срочную программистскую халтуру. Это правда. По вечерам программист Натан Бринкер включает музыку и пишет код, насвистывая, поглядывая на мелькание клипов в Ютьюбе и ерзя тощей задницей по краешку стула. А вот ранним утром его писательство Натан Бринкер, усаживается на тот же стул и вначале долго крутит рычажки, подгоняя его под себя, словно вечером на нем сидел кто-то другой. К десяти утра его грузное тело устает от сидения. Он выходит на кухню, брезг-

ливо смотрит на гору грязной посуды, которую легкомысленный программист Натан Бринкер не помыл вчера. Что ж, значит, не судьба ей быть чистой сегодня. Мыть посуду сейчас – все равно, что окунуться в бурлящий гейзер – так все настройки сойдутся. Он лезет в шкаф за бумажным стаканчиком, насыпает туда кофе, встряхивает стаканчик, чтобы почувствовать запах бергамота и вдруг замечает там муравья, который карабкается по кофейному бархану. Натан Бринкер ежится, представляя как еще бы минута – и на беднягу обрушилась бы кипящая лава. Он пытается подцепить муравья ложкой, но тот теряется в черном песке. Тогда он достает другой стаканчик, заново насыпает кофе из пачки и вдруг замирает. Стаканчики с кофе на дне похожи на два круглых глаза, обведенных картонным ободком. Они строго смотрят на него. О чем ты будешь писать, Натан Бринкер? О чем ты будешь писать каждую неделю?

Секс, психология, абсурд... Когда звонит Рут или родители, я отвечаю им, что работаю. Я не вру, я правда работаю, но не над кодом, который обеспечил бы мне безбедное будущее. Мне очень стыдно. Опять звонок! Да они что там, с ума сошли?! Я же перед экраном, здесь у меня слова, которые пульсируют и мигают! Слова и еще что-то, обозначенное пунктиром, видимым только мне. Это «что-то» я должен провести, по единственному возможному маршруту, как авиадиспетчер – самолет. Вы что, хотите, чтобы я ошибся и самолеты столкнулись в небе? Ладно, вам же хуже,

– Алло!

– Натан, привет, мы ведь встречаемся сегодня, или как?

Это звонит Шехтер. Шехтер – мой новый старый друг. Старый – потому что мы знакомы еще со школы. Новый – потому что он – единственный, с кем я могу говорить о словах. Тогда, в школе, он казался мне симпатичным ботаном, обреченным на пожизненное заключение в гостевой пристройке рядом с виллой родителей, когда же я начал писать, мне сразу вспомнился именно он, единственный писатель, которого я знал. Я слышал, что он давно уже работает в каком-то журнале. В отличие от меня, у него не было фасада, за которым он мог бы спрятаться и места где он мог бы отсидеться. Он писал по статье в неделю, что-то о политике. Теперь он показался мне суперменом, канатоходцем, который делает на глазах у всех трюк, который я лишь начал разучивать. И вот как-то раз мы случайно столкнулись с ним на улице, зашли в кафе. Я признался, что пишу.

– Для себя? – спросил Шехтер.

Я почувствовал себя оскорбленным.

– Нет, – ответил я небрежно. – Для университетского журнала. Это подработка.

– А, ну здорово, молодец.

Я тогда хотел спросить его, как он управляет со всем этим. Как не боится написать какую-нибудь глупость, ошибиться, случайно повторить уже сказанное, свое или чужое, и главное – у меня никогда не хватило бы духу, но мне хотелось спросить: «Все, кто пишет, чувствуют это? Что делать теперь с этим новым видом одиночества?»

Потом мы стали дружить и встречаться часто, и когда я, стараясь сохранять легкомысленный тон, заговаривал о чем-то подобном, то всякий раз ответом мне был удивленный взгляд. Шехтер писал с детства, возможно, таких страхов у него и вовсе не было, а может, он их не помнил.

В кафе было душно. Шехтер заказал лимонад, я – кофе. Я дождался, когда официант уйдет, и сказал.

– «Делит» хочет, чтобы я писал колонку.

– Очень хорошо. Пиши, у тебя получится.

– Но о чем?

– О чем угодно, о жизни.

– А ты как решаешь, о чем писать?

– Я пишу о политике. Каждый день что-то происходит.

Меня вдруг осенило: «А слушай, давай писать вместе. Придумаем формат, подберем стильные иллюстрации», – я тут же, на ходу, придумал название рубрики и первые темы.

Шехтер выслушал не перебивая, посмотрел на меня поверх своего лимонада:

– Я занимаюсь политикой. Не ищи компанию, ты пойдешь туда один.

Раз в неделю. Тысяча знаков. Секс, психология, абсурд... Шехтер вызвался подбросить меня домой. Шоссе проходит через арабский район. Сегодня первый день Рамадана и многие дома украшены иллюминацией. Иногда это целые электрические ковры, на которых синие и зеленые огоньки разбегаются в стороны от центра, иногда – лишь отдельные гирлянды. Одна из них особенно забавна: из окна свисает вниз электрическая борода, по которой стекает неоновый мед. Я запоминаю бородатое окно, потому что в этот момент в разговоре возникает она – черная, худая, злая – возникает, и навсегда связывается у меня в сознании с чужими праздничными огоньками.

Кошка...

Шехтер говорит: «Черт, кошка, как же я забыл, мне надо было позвонить!»

– Кошка?

– Ну да. Я уезжаю, мне надо пристроить ее куда-то на неделю.

Секс, психология, абсурд, смешные случаи, домашние животные... Почему бы и нет?

– А она у тебя... кусается?

– С ума сошел? Ты что, кошек не видел?

...

Он привозит ее в картонной коробке. «Не трогай пока, пусть привыкнет». Спустя несколько минут в прихожей появляется мешок наполнителя и мешок корма, кошачий туалет, тарелочка, миска для воды и вставленная в нее игрушечная мышь. Что-то сиротское есть в

этом скарбе, и еще – что-то унижительное для живого существа. Словно я сразу же узнал о ней слишком много, и это знание далось мне незаслуженно легко.

– Здесь песка хватит на месяц, она мало срет, – говорит Шехтер и вздыхает. Ну что, я пошел?

– Постой, а ее надо выгуливать?

– Обалдел? Это же не собака. Это кошка, она просто с тобой живет.

Я не совсем понял, что за мысль он вложил в эти слова, но они меня ободряют.

– Постой, но неужели ты ее за все годы совсем-совсем никак не назвал?

– Ну вообще-то называю ее иногда, когда вечером ложится рядом, нагревается и мурчит.

– Как называешь? – Шехтер смущенно улыбается:

– «Печень».

...Это кошка. Она просто со мной живет. Я буду писать о ней. О том, как она ест, умывается, срет – в конце концов. Это будет забавно – я еще раз заглядываю в коробку, из которой она не спешит вылезать. Черная, худая и какая-то неровная, она похожа на футляр для очков, сшитый раскаявшимся панком на трудотерапии. На острых лопатках шерстка пореже и видна белая кожа. Шехтер говорил, что кошка старенькая. За столько лет он не додумался ее назвать. Тоже мне писатель.

День первый. Она не умывается. Она не ест. Она не срет. Она сидит в углу и оживает только, когда я открываю окно. А вдруг она захочет выскочить? Здесь девятый этаж, она убьется. Я закрываю окно – воздух в комнате становится спертым. Я звоню Шехтеру, он долго не отвечает, затем в трубке раздается треск, и я наконец-то слышу его голос.

– Она убежала? Попала под машину?

– Нет, с чего ты взял?

– Тогда какого ты звонишь мне в Париж?

– Я не знал, что ты уже там, думал, ты улетаешь ночью.

– Дружище, каждая секунда нашего разговора будет стоить, как чашка кофе в «Ароме». У меня какой-то людоедский тариф, напиши мне лучше.

– Постой, постой! (первая чашка кофе) Она не ест.

– Она в шоке, привыкнет. (вторая чашка кофе)

– Она хочет на улицу, может, погулять с ней?

– Ни в коем случае, она же сразу убежит! Хочет гулять, пусть посидит на окне.

– У меня девятый этаж, помнишь? Она свалится, выпрыгнет. (третья и четвертая чашки)

– Она не выпрыгнет, не дура. Она привыкла к высоким этажам.

– Как это привыкла? Она ведь всю жизнь жила с тобой на первом! (пятая и шестая чашки)

(седьмая чашка)

(восьмая чашка)

(девятая чашка)

– Аллю, Шехтер, почему ты молчишь?

– Она всю жизнь прожила на пятом этаже. Не со мной. Прости, я не хотел тебе говорить, это не совсем моя кошка. Она у меня всего неделю и теперь как бы моя. Это кошка моей подруги, она умерла. Прости, что не говорил, не хотел тебя пугать.

– Как ее зовут?

– Оснат Нагари.

– Да нет, не подругу – кошку!

(пятнадцатая чашка)

(шестнадцатая чашка)

Телефон разряжен.

Оснат Нагари – это имя мне смутно знакомо. Шехтер точно о ней не упоминал, значит откуда-то еще. Я набираю его в гугле и вижу: Оснат Нагари писала колонки. Хорошие колонки. Я читал это всю ночь. Там было про барабанщиков в белых одеждах, которые провожают мальчиков, празднующих Бар Мицву к Стене Плача. О том, как, отбарабанив, они дудят в шофары, а потом, в шутку, прислоняют эти кольчатые костяные рога к голове ребенка, и он вдруг выглядит Минотавром, и смущенно улыбается, а они благословляют его, хлопают по плечу и советуют запостить фотку в фейсбук. Там было про сгущенный черно-зеленый цвет кипарисов, о том, что хочется поскрести его ногтем, и там, – писала Оснат, – под слоем черного, будет расплавленное, закатное, алое. Там было про ящериц, оцепеневших на раскаленных тротуарах, и про тонкий слой каменной пудры, покрывающей румяные надгробия. Про бульдозеры, которые не дают ей спать, про новые дома на окраинах, что скалятся, словно ряды белых зубов, про то, как смеется этот город, и как невозможно, как преступно злиться на него, дряхлого старика и быстроглазого мальчика, любящего барабаны и цветные огни.

Она была старше Шехтера на десять лет, у нее было больное сердце. Нигде не написано, как зовут ее кошку.

...«Иди сюда», – я беру кошку на руки и подхожу с ней к закрытому окну. Я пытаюсь донести до нее концепцию высоты. (Все-таки есть разница между пятым этажом и девятым.) Я живу на самой окраине, здесь начинается пустыня. Я показываю ей крыши, холмы, арабские деревни, поселения, Иорданию. Она смотрит вниз с цепким интересом, как смотрел бы

лишенный сантиментов строительный подрядчик. Я так и не понял, осознала ли она, что эта высота для нее смертельна?

Мы одновременно вздрагиваем от звонка.

– Привет, Натан! – у Рути немного напряженный голос, и он становится еще более напряженным, когда она это понимает. – Я подумала, что зря обиделась на тебя из-за этой собаки. В конце концов, я, как и ты, – не привыкла к животным в доме, у нас в детстве даже хомячка не было. Черт с ней, с собакой, я даже не разбираюсь в этих породах. Посидим где-нибудь сегодня вечером?

Мне очень хочется увидеть Рути, но потом она вызовется меня отвезить на мои чертовы кулички, а когда она меня отвозит, то остается на ночь. Рути захочет увидеть, как я разрешил заусеницу в коде, на которую жаловался ей вчера. Как я объясню ей, что всю ночь читал истории Оснат Нагари? Что потом пытался написать что-то свое, про иерусалимские огни, и сгорал от стыда, оттого, что получилась напыщенная чушь. И что сегодня вечером я твердо решил еще раз попытаться. И главное, как я объясню, что уже второй день у меня живет чужая кошка?

Она не бросила трубку. Она владеет собой, всем бы так.

...

Ко мне пришли Шехтер и Оснат. Мы пили вино, Оснат рассказывала, что в мошаве, откуда она родом, в жаркие летние ночи развешивают в домах и во дворах мокрые скатерти и простыни, а потом ходят друг к другу в гости, хохоча и стучаясь лбами, блуждая в белых полотняных лабиринтах. Некрасивые девушки приходят в дом к тому, к кому давно мечтали прийти, и остаются там навсегда. Дети давних врагов играют вместе и засыпают, обнявшись, прямо на мягкой земле, в чужих владениях, куда им раньше не было хода, и их сон сторожат собаки и козы.

Я открываю глаза. Она сидит на карнизе с наружной стороны, спиной ко мне. Уши напряжены так, словно между ними проходит электрическая дуга. Она слушает ночь. Я боюсь двинуть затекшей рукой; малейший шум – и она может испугаться, заметаться, свалиться с узкого карниза. Как получилось, что я не закрыл окно? Вспомнил! Я умирал от жары и открыл его, почти не просыпаясь. Полночи я проспал, обдуваемый ночным ветром, и вот расплата. Который час? Три, полчетвертого? Вот-вот внизу, на минарете в арабской деревне, завоет муэдзин, она может испугаться, оступиться... Утром я найду внизу ее труп. Она повернула голову. На стекле трепещет ночная бабочка. Господи, пожалуйста, не допусти, чтобы эта идиотка кинулась сейчас ее ловить. Господи, притупи в ней инстинкты. Господи, пусть только не поворачивается на карнизе, Господи, пусть не прыгает! Ладно, хуже уже не будет. Стараясь двигаться плавно, я протягиваю к ней руку, беру за шкурку и втягиваю внутрь. С треском захлопываю окно. Звучит муэдзин.

«Приезжай и забирай эту дуру, – пишу я Шехтеру. – Я не могу жить в такой духоте».

– Напрасно ты так волновался. Она бы не упала. Смело открывай окна.

– Нет уж, второй такой ночи я не переживу.

– Как там твоя колонка? – меняет тему Шехтер.

И в самом деле, как? Я не писал ничего уже два дня, потому что читаю Оснат Нагари и хочу писать как она. Как то, что прочел этой ночью, про полотняные лабиринты... Стоп. Я ведь это не читал.

«Хочешь знать, как колонка? – пишу я Шехтеру, разозленный. – Она – никак, потому что я не пишу. А не пишу, потому что не сплю, и эта твоя дура тоже не спит, и не ест, и не срет».

– Правда не срет, совсем? – Шехтер озабочен.

Я иду в ванную, туда, где стоит ее туалет, и рассматриваю наполнитель – он идеально чист. Я разгребаю его – все стерильно. И тут я замечаю, что на сложенном на стуле полотенце что-то темнеет. Это три черные какашки, твердые, как метеорит. Теперь я вспоминаю о странном запахе мокрой фанеры, которым несло от стола.

– Шехтер! Шехтер, мать твою! Ау!

Шехтер молчит, делает вид, что отошел от компьютера, но я чувствую, что он видит мой вопль. Одновременно с этим я чувствую, как в нем созрело некое твердое намерение, и как в далеком парижском дьюти-фри, покачнувшись и заскользила ко мне бутылка дорогого коньяка. Она медленно приближается, я даже вижу вензеля на этикетке с названием, которое всегда оставляло меня равнодушным.

Я закрываю окошко чата.

...Днем она спит. К вечеру становится взвинченной и ломкой, как музыка Стравинского. А по ночам она разрушает. Каждое утро – новые руины. Вчера я нашел низверженную фигурку Афродиты в раковине с отбитым носом. Опрокинута полка с дисками, расцарапано кресло, с комода сброшены все фотографии в рамках. Мне тяжело сообщать все это Шехтеру, потому что после каждого такого разговора бутылка коньяка начинает двигаться в мою сторону. Она все больше, скоро будет величиной с бочку.

– Шехтер! Эта сволочь гадит в ящики.

– Ужасно, – сочувствует он. – Протри «Экономикой», запах исчезнет.

– У меня старый стол. Его нельзя мыть, там прогнется фанера.

– А знаешь, – говорит Шехтер, – давай купим тебе новый стол. В «Икее»!

По правде говоря, я давно собираюсь купить стол, он стоит недорого, но вот для того, чтобы привезти его, нужна машина. Машина есть у Рут, но сейчас не лучшее время для того, чтобы ехать с ней в Икею. Когда я представляю себе, как она проводит рукой по поверхности кухонного шкафчика или заглядывает в зев раскладного дивана, мне становится не по себе.

– Ты сейчас зайдешь на сайт «Икеи» и выберешь себе стол, – говорит Шехтер, – а я завтра прямо из аэропорта, заеду туда и привезу его тебе.

Я хочу было возразить, но тут чувствую, как ненавистная пузатая бутылка дорогого коньяка наконец-то перестает расти в мою сторону и, наоборот, – отдаляется, уменьшаясь в размерах. А почему бы и нет? Чем покупать всякую ерунду, пусть уж лучше и в самом деле поможет с перевозкой.

«Ладно, замечано, – пишу я Шехтеру. – На тебе транспортировка, и мы квиты, только прилетай поскорее».

Стол я давно уже себе выбрал, его зовут Бекант. Там, в «Икее», вся мебель имеет имена. Я слышал как-то разговор двух женщин, которые оказались поклонницами икеевского шкафа Билли, а Бекант – тоже крутой чувак. Белый, надменно-минималистичный – как удобно будет за таким писать! Итак, у моего стола будет имя, а у этой кошки, черной дурищи, что дремлет сейчас у меня на коленях, имени нет. Я склоняюсь к ней и целую в затылок, где шерстка между ушей удивительно новая, словно она – несмышленный котенок. Она пахнет миндальным печеньем и немного – тапками. Завтра ее увезут. Слышала? Ты отправляешься домой, разрушительница, лысеющая гурия, огонь моих кресел, черная звезда джихада! До меня вдруг доходит, что Шехтер отлично знает ее имя, просто ему больно его произносить. Больше, чем имя умершей Оснат Нагари. Я ведь до сих пор не знаю, как она выглядела.

Я подхожу к окну. Сколько раз пытался сфотографировать эти огни, а получаются какие-то дрожащие червячки. Оснат Нагари смогла бы их описать, но ей больше нравился дневной Иерусалим – выбеленный, присыпанный каменной пудрой.

Я смотрю на огни, а они – на меня, и вдруг я вспоминаю, на что похож этот взгляд. Когда я учился на втором курсе, я полгода ходил на частные занятия по английскому. Она занималась с учениками в своей гостиной – темноватой комнате с книжными шкафами. Я не мог бы сказать, сколько ей лет – мне было все равно. Как-то раз я пришел на урок вечером, и не мог понять, что происходит. Комната была ярко освещена, она нарядно одета. «Ждете гостей?» – спросил я. «Да, – сказала она, – жду», – и засмеялась. И мы занимались как обычно, и я ушел, и лишь спустя два года до меня дошел этот свет и этот смех. Вот как смотрят на меня эти огни.

– Ну, – говорят они, – ну, догадайся!

– Что, догадайся, что?

– Подумай! – улыбаются огни.

– О чем подумай? Я умру?

...

– Натан, выходи перетаскивать стол! Я уже во дворе! – это Шехтер. Я подошел к окну и далеко внизу увидел, как он выходит из машины. Я выбежал к лифту, потом вспомнил, что нужна, наверное, какая-то тряпка, чтобы стол не соскальзывал, когда мы будем его тащить, вернулся в квартиру, схватил полотенце, накинул куртку и побежал обратно. Лишь у самого выхода я сообразил, что натворил. Я оставил дверь открытой, и она убежала. Я семь ночей спал в духоте, я каждый день собирал урожай черных какашек, я почти полюбил эту черную дуру!

На подгибающихся ногах я выхожу во двор. «Пожалуйста, сделай так чтобы она, сделай-такчтобыоначтобы...»

Она спокойно сидит на бордюре у самого подъезда. Когда я хватаю ее в охапку, взгляд у нее удивленный и оскорбленный. Шехтер выгружает стол и ничего не видит. Я запихиваю ее под куртку и потихоньку отступаю обратно в подъезд, пока Шехтер меня не заметил, как вдруг наступаю на чью-то ногу.

«Натан, что происходит? – это Рути. – Что это? – она указывает на Шехтера, бодро несущего столешницу к подъезду. – Что это, зачем?»

– Это, это... Это мое, мне нужно, я объясню. – я делаю вид, что запихиваю куртку, а сам плотно прижимаю ее, чтобы не выскочила и чувствую, как она впивается когтями мне в живот.

Натан Бринкер пишет совсем недавно и потому не знает, что в то утро, когда он искал темы для своей колонки, приготовил напиток, хорошо известный всем пишущим, как кофе «Ступор». Он бывает двух видов, в зависимости от темперамента автора. У одного писателя это бесчисленные чашки, следующие одна за другой, а у другого, как в нашем случае, пустой стаканчик. Чтобы объяснить, почему кто-нибудь насыпал себе кофе, но так и не залил его кипятком, придется писать роман, а для этого, как известно, нужен кофе. Таким образом, мы имеем бесконечную зеркальную галерею писателей и пустых стаканчиков. Данная картинка лучше всего иллюстрирует эффект, который оказывает на мозг кофе «Ступор». Особенно когда он так и не приготовлен.

Бабочки и потроха

Анна Лихтикман

Они могли бы быть сестрами. Одна – всегда нарядная, другая – в промасленном кухонном переднике. Одну звали бы Яффо, а другую – Агриппас. Эти иерусалимские улицы на каком-то отрезке идут параллельно, и пройти от Агриппас к Яффо можно прямо через рынок. От А до Я – пешком, неспешно, поздно вечером, когда лишь редкие лавки открыты, и рыночные ряды гулки, как кованый сундук.

Вот впереди маленькое кафе. Там свет и музыка, там пахнет картошкой фри, там бельгийские туристки в вылинявших шالях пляшут босиком и опускаются в изнеможении прямо на асфальт, теплый и липкий от сладкого вина – но все зря, никто не смотрит на них, нескладных, наивных, постаревших, как этот август, потому что мужчины улицы Агриппас в это время сгрудились у лотерейного киоска, и для них уже готовятся треугольные куриные сердца и потроха на раскаленном листе железа. Мужчины сутулятся на шатких табуретках и вписывают в лотерейные таблицы года рождения своих брошенных детей, в то время как их бывшие жены сидят в их бывших квартирах, где распахнуты окна, и каждому, кто посмотрит с улицы, видно, как в хирургическом разрезе, сердце этой мертвой семьи – телевизор, который пульсирует, переливается и плавится, как пунцово-синий кристалл.

Но мы не смотрим в чужие окна. Мы идем к Яффо, к трамваю, идем через забродивший фруктовый воздух, по черному асфальту, по скользкой чешуе, под крики последних торговцев, стараясь увернуться от метлы уборщика, шарахаясь от шмыгнувшего рядом кота, и еще чего-то маленького, что с бесовским проворством катится под ноги. Мышь, слива, таракан? А вдруг все-таки бес? Бесы водятся на рынке, это все знают. Один мудрец поймал беса, посадил на цепь и пошел с ним вдоль рядов, а тот вдруг давай хохотать. Услышал, как какой-то человек торгуется из-за сандалий. Прочны ли, продержатся ли пять лет? А между тем человеку тому – бес-то знал – не суждено было прожить и года.

Тот бес, что уселся нам плечи, тоже весельчак: «Послушай, – торопливо шепчет он синими сливовыми губами, – послушай, что кричат сегодня торговцы! Помнишь, когда-то они вопили: “Подходите! Хозяин сошел с ума!” Помнишь, как иногда они принимались раскачиваться и издавать странные возгласы – это был условный знак: так, от прилавка к прилавку, они передавали весть, что по рынку идет красавица. Торговля останавливалась, совки, нырнувшие в куркуму или халву, так и застывали погребенными в цветных песках, пока она не пройдет – “хатиха”, “буба”, “пцаца”¹. Где они теперь, эти вопли? Торговцы лишь выкрикивают названия фруктов, словно имя любимой, утерянной в вокзальной толпе. Кричат: “Вишня, вишня! Клубника!” На рыночные крики, оказывается, тоже есть мода, и она прошла». «А сами-то фрукты, – думаем мы, – разве эта вот пурпурная тропическая шишка не была десять лет назад выращена нашими славными сельхозинженерами в далеком кибуце? О ней даже, кажется, что-то писали в газетах, и мы тогда еще хотели ее купить. Теперь, видимо, придуманы какие-нибудь новые колючие и пахучие мутанты, а мы все никак не соберемся попробовать ту, пурпурную; на прошлой неделе уже почти решились: трогали, нюхали – пахнет дождем».

Сегодня уже точно не купим. Последние лавки закрываются. Уборщики поливают асфальт из шланга. Мы удерживаем чью-то тележку, чтобы не упала в лужу, и ее подхватывает сухая и цепкая лапка в пигментных пятнах. Мы поднимаем глаза и тут же вспоминаем статью из интернета. Ученые попытались состарить Нефертити. Сделали трехмерную симуля-

¹ «Кусочек», «кукла», «бомба» – все три слова означают «красотка».

цию и опубликовали получившийся портрет. Нефертити получилась сухонькой и резколицей старушкой, не утратившей, однако, египетской змеиной торжественности в посадке головы. Точно такой, как вот эта, маленькая и легкая, словно пустая личинка. Наверняка она весит намного меньше своей тележки. Мы помогаем ей докатить тележку до бордюра, потом еще чуть-чуть: до маленького проулка, потом до подъезда, выдыхающего нам в лицо чем-то теплым и затхлым, как добрая собака. Мы заходим в старухину квартирку. Всегда хотелось узнать, как живется в этих старых домах, и вот, наконец-то узнаем. Стены окрашены синим. Керамическая плитка на полу по-кондитерски аппетитно растрескалась. Старуха просит подождать, уходит на кухню. Мы терпеливо ждем. Знаем, что по законам жанра нам полагается некий дар: золотой гребешок, зеркальце, клубок, ну ладно, ладно, если не волшебный предмет, то хотя бы чашка чая. Нет, чая здесь быть не может. Будет либо горячий кофе в стеклянном стакане, либо холодная вода с лимоном, мятой и мелиссой.

Но вдруг кто-то еще заходит в прихожую. До нас доносится мужской голос, – видимо к старушке пришел сосед. «Геула – говорит он – Геула, пойдем скорее, посмотри что творится у меня на потолке!» – «Не сейчас, Габи – отвечает Геула из кухни, позвякивая ложками (значит, все-таки кофе). – Не сейчас, я не могу, у меня гости». Тем временем он проходит в комнату. Долговязый старик в майке и спортивных трусах до колен. И то и другое – цветное, переливчатое; он похож на расписную бейсбольную битку. «Ты такого сроду не видела, Геула, там что-то невероятное. У меня весь потолок в червячках».

«Вот это да, это просто Маркес какой-то», – думаем мы. – «Я залез повыше их рассмотреть, – продолжает старик, – смотрю, а они прямо у меня на глазах превращаются в бабочек. Йоу, вот это был трип! Может, ты думаешь, что я обдолбан, так нет же, я вовсе не обдолбан. Ни капельки! У меня уже неделю как трава закончилась». – «Маркес все-таки или Кортасар?» – думаем мы. «Мука, – говорит Геула, – они у тебя в муке завелись. Выкинь все из кухонных шкафчиков». Старик словно не слышит. «А потом я пошел в спальню, открыл шкаф и увидел, что эти бабочки жрут талес моего отца». – «Борхес», – думаем мы. «Моль, – говорит Геула. – Эта моль сожрет талес отца твоего». «Пойдем, пойдем, посмотришь, – просит старик, – ты должна это увидеть!»

Геуле интересно посмотреть на потолок в червячках, но ей неудобно нас оставлять. Пора уходить.

«Нафталин, – говорим мы, – купите нафталин и рассыпьте в шкафу». – «Что это такое – нафталин?» – спрашивают Габи и Геула в один голос. Мы сами не знаем твердо, что такое нафталин, что-то химическое, белое. Где его достать – тоже не знаем. Мы никогда этим не интересовались. Такое обычно знают старики. Мы были уверены, что рядом всегда будет кто-то, кто помнит, кто знает – но мы ошиблись. Мы прощаемся. Геула и Габи нас не задерживают. Они немного смущены, словно подростки, выпроваживающие родителей. Геула торопливо сует нам что-то в руку.

Яблоко. Мягкое, бледно-желтое мы рассматриваем его в тусклом свете фонаря, надкусываем и идем вперед. По опустевшему рыночному ряду, по облитому водой асфальту покато и блестящему, как спина кита, с бесом на плече, с мягким яблоком в руке, идем от улицы Агриппас к улице Яффо, к освещенным тротуарам, к летнему шарканью сношенных сандалий, к улице Яффо, к концу алфавита.

Маркетологи пока еще не осознали, как поднялись бы продажи кофе, вздумай они придавать ему аромат черного драпа с едва уловимой нотой нафталина.

Разбитая чашка

Анна Лихтикман

В Иерусалиме на улице Яффо есть небольшое марокканское кафе. Там каждый вечер кто-то разбивает чашку. Всякий раз это новый, случайный человек. К человеку подходит официант в черном фартуке, совсем еще молодой – (мальчик или девочка с блестящими, собранными в хвост волосами) и, наклонившись к столику, что-то тихо ему говорит. Со стороны это выглядит так, словно посетителя просят возместить ущерб. На самом же деле ему предлагают пройти в служебное помещение. Человек проходит по узкому темному коридорчику, и оказывается в комнате, где за просторным столом, присыпанным сахаром и крошками, сидит старик в черной атласной кипе. Старик объясняет человеку, что сейчас, вот только что, разбился сосуд его души, что винить в этом некого – просто пришло время – и что теперь он должен изменить свою жизнь, потому что в любом случае, жизнь его больше не будет прежней, уже никогда. Человек улыбается. Если он глуп, то пытается откупиться: кладет на стол двадцатку: «Это за чашку», – говорит он и добавляет еще что-то шутливо-вежливое. Умный тоже оставляет на столе деньги: шекель, но только потому, что в Иерусалиме положено платить за советы. Человек проходит через зал, пахнущий кофе и супом. Больше всего в этот момент ему хочется остаться там. Сидеть где-нибудь в дальнем углу, как вон тот очкарик с ноутбуком. Но он идет к двери, чертыхаясь про себя, и злясь на дурацкие законы жанра, которые не позволяют ему вновь сесть за столик и заказать вторую чашку кофе, и чипсы, и сосиски. Человек толкает прозрачную дверь, за которой темнота уже ждет его, прислонившись драповой спиной к стеклу. Оказывается, что за те полчаса, что он провел в кафе, город изменился, стал просторнее – словно убрали какую-то перегородку – и небо, как потолки в старых особняках, стало выше на целый этаж. Он решает размяться; пройти пешком пару остановок, и во время ходьбы узнает кое-что новое о своем теле. Он думал, что его сердце печень и почки упругие и горячие, как мускулистые маленькие зверьки, а оказалось, что они рыхлые, тают как мартовский снег, образуя внутри пустоту, пока небольшую, величиной с пластиковый стаканчик. Он присаживается на секунду отдохнуть на первой попавшейся скамейке и тут же чувствует пустоту всех, кто сидел когда-то на этом месте. Он удивляется, ощущая, как пустота растет вверх, все выше – белая башня из вставленных друг в друга пластиковых стаканчиков. Человек встает и идет дальше. Теперь пустота движется впереди, так, говорят, морские животные посылают в пространство ультразвуковой сигнал, который, отражаясь от объектов, помогает им ориентироваться. Пустота словно шуп трогает дерево, урну, смятую сигаретную пачку. Сигнал пересчитывается, образуя два слова: «Бога нет», – говорит человек. «Бога нет», – отвечает ему каждый предмет. Впереди, впритирку к тротуару, припарковалось несколько автобусов и из них выпрыгивают школьники. Десятки подростков запрудили собой всю улицу и теперь по ней не пройти, не завертевшись в водовороте черных, одинаково подстриженных голов. Еще вчера человек искал бы способ обойти этот отрезок дороги. Теперь же он чувствует странное физическое удовольствие от близости чужих тел. Он ощущает исходящее от них тепло. Он хотел бы как можно дольше двигаться так, среди запахов жвачки, дезодоранта, синтетики, волос, кока-колы. Вот бы коснуться их всех одновременно. Пролететь над ними низко, как гигантский скат, глядя сразу всем своим плоским черным телом десятки чужих макушек. А потом – километры пустого неба, и вновь толпы, что вывалены на площадь как черные гроздья и бегущие по улицам – оторвавшиеся ягоды. Он укрыл бы их как одеялом, стал бы траурным знаменем, в которое заворачивают погибших. Человек уже догадался о том, что предстоит освоить математику пустоты, пока где-нибудь – в норе, в вагоне, на кухне, на клочке пола между буфетом и холодильником – единственным, куда не долетают пули, он не родит себе нового Бога. Как это

происходит – никто не узнает. Природа вылизет кровавую лужу и спрячет послед. И нам не увидеть его уже никогда, этого прохожего, посетителя кафе, разбившего голубую чашку, хрустальную вазу, полого идола, капсулу с вакциной, которая должна была спасти мир. Зато легко можно увидеть другого. Того, кто разбил чашку на день раньше или на день позже, но не пошел никуда. Он так долго сидел в углу с ноутбуком, что официанты перестали его замечать. Он выходил покурить на углу, чувствуя, что пустота сделала его невидимым, прозрачным. Потом он обнаружил, что может помочиться тут же, лишь отвернувшись к стене, никто не заметит. Он громоздится в своем инвалидном кресле – гора тряпок и одеял – с подножья которой, как лава стекают испражнения. Его коляска – первое, что бросается в глаза на этой стороне улицы. Она мешает проходу, ее не обойти, но подают ему редко. Слишком уж все озабочены тем, чтобы не вступить в вонючую лужу.

Увы, совершенно не важно, какой кофе был в разбитой чашке. Скорее всего, это был обыкновенный черный кофе из кофейной машины, но даже, будь это чашка нежного капучино с белоснежной пеной, на которой нарисовано сердечко или бегемотик, это ничего не изменило бы.



Кривое зеркало Александр Шуйский

Мастерская размещалась в подвале художественной школы, днем тут трудились ученики, а вечерами подвал полностью принадлежал Татьяне и еще трем керамистам. За аренду школа хотела всего ничего, материалы можно было заказывать в неограниченном количестве, так что работа шла бойко, а когда Наташка выбила где-то вторую муфельную печь, Татьяна начала просиживать в подвале чуть ли не все вечера, экспериментируя с обливками и послойным обжигом.

Наташка принесла в мастерскую электрический чайник и маленькую плитку на один «блин» – на плитке они задымляли керамику опилками и варили кофе в джезвах собственного изготовления: с солью и корицей, по личному Татьянинному рецепту. А уж в кружках, ясное дело, в керамической мастерской неостачи не было.

Зеркало притащила та же хозяйственная Наташка. Вернее, не само зеркало, а древний резной шкафчик со вставкой в дверце. Шкафчик повесили над раковиной, чтобы видеть собственные физиономии после работы – обязательно ведь мазнешь глиной то щеку, то волосы, а потом так и идешь по улице чучелом.

И вот, размываясь как-то после рабочего вечера, Татьяна почти машинально протерла мутноватое стекло от белесых глиняных брызг, и сначала даже не поняла, что происходит, а когда поняла, еще несколько раз провела по зеркалу губкой. В небольшом прямоугольнике не отражались ни она, ни мастерская. Отражение показывало комнату, явно жилую, полутемную и заставленную мебелью, которую обычно вывозят на дачу, если уж очень жалко выкинуть. В зеркале прошла тень, за ней – вторая, поменьше. Обитатели.

Голова закружилась, и Татьяна села на первый же попавшийся табурет. Сердце колотилось, руки дрожали. А тени в зеркале скользили по комнате, та, что поменьше – ребенок лет восьми, – семенила за большой и, видимо, о чем-то упрасивала, потому что мать в конце концов развернулась и отвесила ребенку подзатыльник удивительно небрежным жестом. А потом вышла. Ребенок постоял какое-то время, ковыряя не то пуговицу, не то пятно на рубашке – и выбежал вслед за ней.

– Ни хрена ж себе, – сказала Таня примерно минуту спустя. Она медленно встала, шагнула к зеркалу так, чтобы не видеть свое отражение, и подняла руку. В зеркале отразилась ее рука, послушно сложилась в фигу, помахала, а потом заправила прядь волос за ухо, – причем и ухо, и волосы в зеркале были ее, Татьянины.

– Ни хрена ж себе, – повторила Таня, но уже для того, чтобы услышать собственный голос. – Ну и дела.

Никакой закономерности в появлении Обитателей не было. Они просто появлялись время от времени, Татьяна могла в этот момент мыть руки, крутить гончарный круг или резать стеклом насечки на сырой глине. Единственным условием, пожалуй, было ее одиночество в мастерской. Когда с глиной возились вдвоем, втроем и вчетвером, зеркало исправно служило самым обычным зеркалом.

Зазеркальная семья жила вполне обыденной жизнью, вот разве что это была довольно безрадостная жизнь. Уже через полгода заглядываний в комнату с разнокалиберной мебелью, Таня знала, что ребенок ходит в школу и на продленку, что он неплохо рисует и рисовал бы еще лучше, если бы его хоть кто-то учил или хотя бы покупал ему нормальные альбомы и краски.

Татьяне нравился этот мальчишка, нравилась его усидчивость и мечтательность, нравилось, как он строит дома из трех разнокалиберных конструкторов, как «переводит» картинку

на свет, поставив лампу на пол и сдвинув на край толстое стекло со стола. И совершенно не нравились его родители.

Бывало, что мать смотрела рисунки мальчика или делала с ним уроки, но чаще он сидел один. У его мамы было очень переменчивое настроение: в «солнечные» вечера она могла часами возиться с сыном, даже читать ему вслух, слов Татьяна не слышала, но видела, как они сидят на диване с книжкой. В такие вечера мальчишка сиял, как новенький пятак, а работа у Тани шла как никогда: глазурь замешивалась идеально, глина на круге слушалась малейшего жеста, а в партии обжига не было не то что битых вещей – даже трещин. Зато в «пасмурные» вечера подзатыльники сыпались градом, однажды Татьяна даже не выдержала и завесила шкафчик тряпкой, потому что работать под такое не было никакой возможности.

Иногда в зеркале появлялся отец маленького семейства – в четырех случаях из пяти он был пьян и зол, несколько раз Таня видела, как мальчик убегает от него и прячется. А потом, где-то уже в конце весны, увидела, что бывает, когда мальчику убежать не удастся.

Как же она разозлилась. Домашним пришлось объяснять, что разбилась вещь, которую она готовила на осеннюю выставку, потому что ничем другим такое чистое, всепоглощающее бешенство объяснить было невозможно.

Три дня она то призывала все мыслимые кары на головы дурацкой семье, то повторяла неизвестному мальчишке «держись, я с тобой», то бранила себя за то, что так вовлеклась в историю, которая ее, если уж на то пошло, никак не касается. Даже напросилась в гости к Наташке и за чаем аккуратно попыталась выспросить, откуда взялся загадочный шкафчик и не бывало ли с Наташкой каких-нибудь странных и необъяснимых случаев с зеркалами. Но так ничего и не выяснила.

Еще неделю она потратила на выставки и блуждание по городу, а потом поймала себя на том, что высматривает во всех встречаемых детях того самого мальчишку из зеркала – и разозлилась на себя окончательно.

Работа стояла. Подготовка к выставке стояла. Татьяна даже думала, не сменить ли ей мастерскую, а потом решила: да какого черта. Она ведь даже не знает, существует ли эта семья на самом деле, но часами думает о том, как переменить судьбу всех троих, но не может ничем помочь, не может вмешаться, не может услышать их голоса или сделать так, чтобы они услышали ее. Но чужая семья не шла из головы.

Татьяна часто думала: почему она, почему именно ей показало зеркало этих людей, что за странная избранность, ведь не может быть, чтобы все это было случайно.

Ее собственное детство было похоже – и одновременно не похоже на детство зазеркального мальчика. Да, с матерью были конфликты, да, отец выпивал – а у кого было иначе? Почему, в конце концов, она должна думать о каком-то мальчишке, у нее есть собственный сын и, между прочим, муж, заботливый и любящий, но да, пьющий, но ведь редко.

Она стала раздражительной, не высыпалась, а когда Стас поинтересовался, что происходит и когда это кончится, принялась кричать, что никому нет до нее дела, что у нее выставка осенью, к которой ничего не готово, что у нее творческий кризис, а всем плевать, и не оставят ли ее уже в покое наконец.

В разгар скандала проснулся шестилетний Пашка, прибежал на кухню с криком «не бей маму!», и Татьяна вдруг обнаружила себя с занесенной для подзатыльника рукой. Жест был привычный, домашний, обыденный. И вот тогда она испугалась по-настоящему.

На следующий же день пришла в подвал с банкой масляной краски. И закрасила зеркало в шкафчике толстым белым слоем. А у двери повесила другое зеркало, свое.

После обеда она зашла в книжный и накупила самых ярких, самых соблазнительных книг и весь вечер они просидели с Пашкой на диване, забравшись с ногами и укутавшись в плед, разглядывали картинки и выбирали, какую книжку начнут читать первой.

Неделю она не ходила в мастерскую, перемыла в доме все окна, переделала массу мелких дел, которые откладывала месяцами. Читала с Пашкой, варила обеды, разбирала шкафы и выкидывала старые вещи. А зазеркального мальчика если и вспоминала, то старалась думать: «пусть у него все будет хорошо» и переключаться на какую-то возню по хозяйству.

Постепенно все наладилось. Татьяна с головой ушла в работу, и выставка прошла просто отлично, ее прорезная чаша даже получила приз, а сама Татьяна – приглашение участвовать в большой сборной солянке керамистов с экспозицией сначала в Европе, а потом и в Штатах. Она работала жадно и увлеченно, и со временем почти забыла о полутемной комнате и ее обитателях.

Из Штатов она вернулась довольная, похудевшая, с кучей впечатлений и планов. Еще через год ее приняли в Союз, а еще через год – удалось выбить мастерскую, она увлеклась скульптурой, критики находили в ее работах «изящество и монументализм», словом, Таня была на очевидном подъеме.

Стас за эти два года получил повышение на работе, и привезенные с выставки деньги они отложили на покупку машины. Однажды утром, уходя, он предупредил, что вернется поздно, и действительно вернулся только к десяти вечера.

Татьяна накормила его ужином и только после этого осторожно спросила:

– Может, все-таки расскажешь, где был?

– У нарколога, – очень буднично ответил Стас. – Думаю вот, не подшиться ли мне. Что скажешь?

На следующий день Татьяна пришла в школьный подвал, запасшись молотком, отверткой и малярным скотчем. Аккуратно сняла дверцу шкафчика с петель, положила на верстак, заклеила зеркало скотчем и била молотком до тех пор, пока поверхность не превратилась в одно сплошное месиво трещин. А потом взяла шпатель и соскребла выклеенные осколки, все до единого.

Два самых ранних и ярких воспоминаний моего детства. Я сижу в коридоре на маленькой скамеечке, трясясь от ужаса, а на кухне орет пьяный отец – обещая убить маму, как только она вернется. Я стою на лестнице на площадке между двух пролетов, в торцах площадки – по огромному зеркалу в тяжелой раме, я смотрю в одно из них и вижу бесконечный коридор из множества зеркал, и в каждом – маленький мальчик, заключенный в эту бесконечность.

Фокус с зеркалом я потом проделывал множество раз. В нашей гостиной, на раздвижном столе-книжке, который был куплен ради гостей и раскладывался от силы раза три, стояло зеркало из черного шкафа, еще со старой квартиры. Я брал маленькое зеркальце из ванной комнаты – так, чтобы не видела мама, она очень не любила, когда я брал ее вещи, – и подносил к большому. Коридор из зеркал завораживал меня, я мог смотреть в него часами.

Странное дело: иногда, когда мне удавалось поймать в этот коридор свое отражение, в голове возникал один и тот же образ. Гончарный круг и ком глины, который мнут и гладят руки гончара, и выводят из влажной массы форму, лепят стенки и тонкий край, и вот уже на круге – чаша или кувшин, нечто совершенное, идеальное, творение мастера. И почему-то – запах корицы и кофе.

И каждый раз, когда мне казалось, что жизнь моя невыносима, когда отец напивался или мама начинала говорить, что из меня ничего никогда не выйдет, я представлял, что это мой ангел-хранитель лепит мою судьбу из влажного, бесформенного кома. И как-то успокаивался, рос, учился, когда на тройки, а когда и на «отлично», в шестом классе уговорил маму отдать меня в художественную школу, поступил в Мухинское, сначала на керамику, а потом перевелся на реставраторское. И с первого же курса выбил себе общежитие, объяснив, что из пригорода каждый день ездить очень далеко.

На мой кофе с корицей приходили со всего корпуса. Но мне все время казалось, что в нем чего-то не хватает. И однажды, в разгар рабочего вечера, сонная Томка рассказала, что если хочешь проснуться, нужно добавить в джезву самую капельку соли. Я оставил ее возиться с деталями старой зеркальной рамы, залил кофе водой, добавил корицы, дождался, пока начнет подходить пенка – и всыпал несколько прозрачных, крупных соляных зерен.

Кофе закипал, подбираясь к краю, в моей голове крутился гончарный круг, мой ангел-хранитель где-то там, смеясь, лепил совершенную чашу, за реставрацию рамы обещали дать денег – и я подумал, что в общем и целом у меня все получилось как надо.

Кофе, чтобы проснуться

Залить кофе водой, добавить корицы. Подождать, пока кофе «заговорит», но еще не начнет подниматься. Тогда досыпать крупной соли на самом кончике ножа.



Другие обитатели Кэти Тренд

Нишу, занятую в нормальных городах разрушением, в Петербурге занимает строительство.

Истинный петербуржец, настоящий островитянин никогда не будет рад новому дому, новому мосту, новой гостинице. Лучше вообще на эту тему не высказываться, чтобы не быть изгнанным навсегда из сообщества приличных людей.

Впрочем, я в сообщество приличных людей не особенно стремлюсь. Вырастающий над городом Барад-Дур мне вообще скорее нравится. Я люблю честность. Живем в Мордоре, вот и Барад-дур подоспел. Башня эпически выплывает из тумана и показывает собой ровно то, чем и является.

Другие здания, конечно, хуже. Их еще и строят внезапно, только что был какой-нибудь разрушенный завод – глядь, уже стоит остроугольная девятиэтажка из больших красных кирпичей. Башню еще можно написать акрилом, темную, перечеркивающую небо, эмоционально эффективный пейзаж, а с этими что делать? Они вползают на землю, пригодную для чего-нибудь другого, какой-нибудь старый стадион или завод, и моментально укореняются там, словно всегда были, и стоят там такие без лица, место занимают.

Ну вот, похоже, все-таки этот мой беспокойный ум достоин принятия в приличные люди: еще и часа не проработала, а уже недовольна. Но это и неудивительно: питерская весна есть питерская весна, с одного бока тебя греет нежное солнышко, другой методично подрезает ледяной ветер. Долго с натуры не проработаешь. С другой стороны, на натуру меня никто и не гнал, вполне хватило бы картиночки из сети, а уж нарисую-то я по ней близко к тексту – но вот не нашлось почему-то картинки с нужного ракурса. Отсюда не видны, конечно, эти кошмарные кубики на месте старого стадиона у основания телебашни, но я-то знаю, что они там есть. Зато отлично виден пятый корпус электротехнического института, голый, из полуседого советского кирпича, вроде бы и унылый, как вся советская архитектура, а почему-то любимый.

Вот, кстати, интересно, почему? Смотришь на какой-нибудь прямоугольный кошмар, и душа радуется. Смотришь на свеженький архитектурный шедевр с башенкой – и не чувствуешь ничего.

Впрочем, к ближайшим кубическим захватчикам территорий я испытываю ровно то, что они заслуживают: раздражение. Все, хватит, романтический фасад института, вид снизу, считай, закончен, вот и нечего тут торчать и раздражаться почем зря.

На Карповке, кстати, радость. На Карповке сияют симметричные восстановленные модерновые башенки. Видела, как строили левую: совершенно по-настоящему, дерево и жель, никаких симулякров. Есть еще одна, медная, на площади, и еще одна ниже по течению Карповки.

Но сейчас важно не это, а выпить чего-нибудь горяченького. Здесь, кстати, очень неплохо с пирожками, Карповка – пирожковая река, а вот с кофе тут не очень. Не знаю в округе ни одной хорошей кофейни. Поэтому покупаю в одном из прекрасных пирожковых окон длинный хачапури с курицей и иду с ним к метро – там, несмотря на то, что вся площадь превратилась в

ресторанный дворик со всеми базовыми фастфудными, кофе стоит пить только в пирожковом трейлере, а вот пирожки там хуже, чем на берегу. Беру себе кофе, присаживаюсь на толстый корень растущего в сквере дуба, распаковываю хачапури, отхлебываю глоток. Для того, кто битый час удерживал на ветру разлетающийся альбом – божественно.

Рядом со мной останавливаются чьи-то ноги. Обычные мужские ноги, необычно только место. Проход к речке слева, справа только двор, заведение с непонятным названием «Астро Ландра» с фанерной крутящейся штукой в окне, граненый эркер и стенка с закрашенным граффити, темно-серым по охре, и надписью сверху «Бля! Как красиво!». Справа люди не ходят.

– Машка, ты пьешь не то и не там, – раздается сверху голос, и я поднимаю голову.

Это оказывается Митя. Не видела его лет приблизительно сто. За эти годы он как-то округлился, отпустил короткую бородку и стал выглядеть совершенно благообразно. Шляпа, дипломат. Хотя нет, дипломат все-таки выдает некоторую фриковость. С такими сейчас не ходят, где он вообще его взял? Поднимаюсь рассмотреть его получше.

– Я всегда пел не то и не тем, – пою ему в ответ. – Да ладно, нормальный кофе, главное, горячий. Как дела вообще?

– Дела прогулочные, – туманно отвечает Митя, – ты сейчас не занята? Прогуляемся, угощу тебя настоящим кофе?

– Идет, – говорю, – как раз работу закончила. А где тут пьют настоящий кофе?

– Ооо, – качает головой Митя, – о-о-о! – Судя по всему, тайное место, где пьют настоящий кофе, он знает.

Мы идем по Малому проспекту и обмениваемся сообщениями об актуальной жизни. Как я понимаю, в сообщения не попадает и четверти настоящей жизни. Я совершенно точно не могу рассказать почти случайному приятелю про Лисий нос, лося и монстра, питающегося виолончелями; похоже, и Митя вовсе не все готов поведать. Так, вешки. История искусств как убежище от кошмаров журнализма с его стороны, иллюстрации и перформансы с моей.

Проходим мимо пончиковой (и правильно), проходим мимо понтового продуктового для хипстеров, дальше у нас только булочная Вольчека, но кофе там дорогой и банальный, вряд ли туда.

И вдруг останавливаемся. Новый домик возле почты – он был очень красивым на картинке, пока его строили, изогнутый фронтон, эркер на колоннах – но по дороге плавность линий сперли и дом вышел до крайности нелеп. Тем более, что и не поселился в нем никто, только с задней стороны арендовал помещение магазин осветительной техники. Пыльная дверь на высоком крыльце, кажется, никогда еще не открывалась. И тут Митя поднимается на площадку и открывает дипломат – а там сюрприз.

Вот чтоб там были приличные бумаги – так вовсе нет! Там оранжевая синтетическая скатерть, газовая горелка, джезва и три кофейные чашки. А еще пара жестяных баночек, маленькая кофемолка и кофейная ложечка на длинной-длинной ручке.

Митя аккуратно расстилает скатерть, расставляет посуду, присаживается на один край скатерти и указывает мне на другой. А сам прикручивает к баллону горелку, устанавливает

в центре скатерти и принимается по одному скармливать кофемолке зерна из одной банки и кардамон из другой.

– Не ожидала, – честно признаюсь, – мы-то частенько и не такое устраиваем, но с твоим имиджем как-то не вяжется. И почему именно здесь?

– ...Есть тому своя причина, – склоняет голову Митя, продолжая накручивать кофемолку. Люди идут мимо крыльца, не глядя в нашу сторону. Не раз уже замечала, что это пыльное крыльцо практически не граничит с реальным городом, его как бы не существует. Поэтому частенько оставляю здесь свой велосипед. Все равно никто не заметит. Может быть, поэтому?

Дальше я просто смотрю, как Митя варит кофе. Высыпает молотый в джезvu. Заливает водой из бутылки. Ставит на синий огонь и ловко подхватывает, когда шапка пены начинает подниматься. И разливает почему-то по трем чашечкам. И встает, и ставит одну из чашечек к пыльной двери, в узкую щель между дверью и стеной.

Пьем кофе молча. Говорить ничего не надо, ясно, что кофе, изготовленный таким необычным образом, и должен быть хорош. Я обычно пью с молоком, но тут понятно, что молоко оскорбило бы благородный напиток. Задавать вопрос о приношении местным духам тоже как-то неловко.

– Так что за причина? – наконец спрашиваю я.

– А тебе в целом понравилось? – отвечает вопросом на вопрос Митя.

– Ну да. Крыльцо, горелка, джезva. Здорово. Очень в нашем духе. Как пикник в детской или тридцать семь зеленых ботинок. А почему ты спрашиваешь?

– ...Потому что это важно, – объясняет Митя, – дом новый и еще не живой, а сейчас мы приманили кое-кого; и если ты будешь ходить мимо и вспоминать, как мы тут сидели и кофе варили и тебе будет приятно – ты будешь их как бы подкармливать.

Я заглядываю в чашку, стоящую в щели. Чашка пуста, только гуща на дне лежит ровненько, будто чашку и не наклоняли. Почему будто? Не наклоняли же, я бы заметила.

– Вот так, – подтверждает Митя.

– Погоди, – понимаю я, – ты что же, регулярно это делаешь? А кто это? Кикиморы какие-нибудь?

– Типун тебе на язык, – смеется Митя, – нет здесь никаких кикимор. Всякие другие ребята, вероятно, вроде домовых, хотя это тоже грубо.

– И что, кофе любят?

– Ну, кто как, – пожимает плечами Митя, – часто я просто понимаю, что нужно. Кому-то кофе, кому-то пирожок за угол положить, кому-то песенку. В некоторых особо сложных случаях приходится усаживаться у нового дома с ноутбуком и писать текст. Если этого не сделать, дом и не оживет.

– А! – вдруг доходит до меня, – так вот почему мы любим пятый корпус ЛЭТИ! Мы же ему пели! Фестивали на крылечке устраивали.

– ...Вот-вот, – подтверждает Митя, – приманили, кого надо.

В моей голове взрывается фейерверк феерических перспектив. Так ведь можно и мосты освоить (интересно, что любят тролли?), и неприятные кубики, и оживить тот подземный переход, где мы ели пироги, а потом там все снесли...

– Слушай, а гостиницу можешь? Ну, Северную Корону тут, на Карповке?

Митя мрачнеет.

– Гостиницу не могу. Там уже кто-то другой живет. Хотя, вот кино, может быть, поможет. Посмотрим. Там же короткометражку снимали отличную, «Майор Гром», видела? Кино-то я еще не пробовал, не умею, максимум сценарий могу написать. Пока не знаю, как оно работает. В народе ходят слухи, что место проклято, ну, ты знаешь, наверное, там священник помер; другие говорят, что, мол, коммуникации там так дерьмово спроектированы, что дешевле снести, чем переделывать – но это все ерунда. Прогонять живое я не мастер, для этого другие люди есть, – и я на некоторое время задумываюсь, принимая новую картину мира, где для каждой городской задачи существует свой шаман.

– А как ты, – спрашиваю, – дошел до жизни такой?

Митя пожимает плечами, и я понимаю, что вопрос дурацкий. А я как до жизни такой дошла? Год за годом, своим ходом. У Митьки всегда были свои отношения с домами и их обитателями. Ничего удивительного, что за последние годы они вышли на новый уровень.

Прощаемся, расходимся. За те полчаса, что мы пили кофе на крыльце, ясное еще совсем недавно небо затянула черная снеговая туча – а я как раз иду обратно к Карповке, потому что сама-то ела-пила, а ребятам вкусных пирожков не купила. Уже на углу Левашовского я иду, согнувшись, навстречу летящему параллельно земле снегу, держа шляпу обеими руками. ныряю за угол, на набережную, прячусь от ветра в очереди за пирожками, прижимаюсь к стене, поворачиваю голову к незадачливой гостинице.

И вижу, как, соразмерный всему серому зданию с двойной мансардой и высоким фронтоном, поднимает голову соткавшийся из пурги белый большоголовый дракон, топчется там на манер котика, встряхивает крыльями, складывает их, ложится, укладывает голову на лапы, сливается с серыми стенами. В пурге чего только не увидишь.

Правильный кофе обязательно надо варить на газовой горелке в неожиданном месте. Молоть кофе лучше непосредственно перед варкой, зерна брать местной обжарки – «Жокей» или «Жардин» вполне подойдут. В качестве приправ годятся имбирь, кардамон и мускатный орех.

Не забудьте оставить чашечку местным духам.



Варшава

Константин Наумов

Прогресс ведет в задницу, сомнений в этом ни у кого, конечно, и быть не должно. Мой французский новомодный отель оснащен по последнему слову техники – в номере есть даже уют и гладильная доска – размером с разделочную. На его месте раньше стоял другой – бетонный и уродливый, как все здания в Варшаве. В бетонном и уродливом сортиры были больше, чем мой нынешний номер. При той же цене и той же вывеске. Это такой бизнес у французов. Покупаешь отель, сносишь, строишь новый, современный, под тем же названием и с утроенным количеством номеров. Профит.

Вниз. Ресторан тоже современный, с меню на огромном экране. Меню все время куда-то плыло, пока я не понял, что экран следит за моим взглядом. Суки. Несостоятельность eye-tracking интерфейсов – один из пунктов моего workshop-а завтра. Плюнул и вышел на улицу.

Улица – самая большая и уродливая в городе, восемь полос – делит Варшаву пополам. Перейти ее за один цикл светофора невозможно – приходится стоять в середине, задыхаясь от выхлопных газов. По этой улице – если что – должны литься в Европу стальным потоком русские танки – поэтому так. Прямо сейчас танков не было, а кафе на той стороне были. Нашарил кнопку наушника; подумав, Siri заявила, что нашла три десятка мест, все «pretty far from you», и если, как она полагает, я иду пешком, нужно вызвать такси. Хочу ли я, чтобы она вызвала мне такси с «English-speaking driver»? Дивно. Кафе есть, в базе Siri их нет, значит, без шансов – узнать заранее, отравят ли меня там. Добро пожаловать в Восточную Европу, будь она неладна.

В два приема перебежав улицу, я обнаружил: (1) сетевое мексиканское кафе от неизвестной мне франшизы, (2) японскую лапшевню, в дверях которой ошивался худой вьетнамец, и (3) дверь, ведущую в проем между домами, трафарет масляной краской «kawa» – с маленькой буквы и без пояснений. Проем между домами – чуть шире самой стеклянной двери. Внутри помещались: один прикроватный столик, назначенный теперь просто столиком, стул рядом с ним, сломанный, но надежно укрепленный проволокой, стойка, в прошлой жизни бывшая частью чего-то большего, может быть – настоящей стойки в баре. Еще там была очень породистая итальянская машина, вкусно блестящая медью, из машины пробивался струйкой пар. На стойке стояла чашка эспresso. За стойкой помещался хозяин. Весь, кроме носа и губ, которые не помещались и нависали над полированной поверхностью стойки, чашкой, словом – над всем крошечным кафе. Хозяин дал мне оглядеться и ткнул пальцем в сторону чашки. Захватив на столике сахарницу, я подвинул стул к стойке и присел на спинку. Судьба в этой поездке торчать в крошечных помещениях. Свежий кофе, налитый несколько секунд назад. Хозяин фыркнул и добыл мне ложечку. Никто не любит, когда эспresso пьют с сахаром. Мне плевать. Хороший кофе.

По стенам висели фотографии когда-то многочисленной еврейской семьи. Свежих среди них не было, все довоенные: судя по всему, гетто пережил только этот дед. Хороший кофе. Жить стало легче. Я вопросительно поднял брови и полез за бумажником. Дед уронил огромную нижнюю губу, сказал оттуда что-то обидное и повернулся спиной. Милое дело. Юго-западный диалект идиш, причем ни одного романского корня я не услышал. И числительных я не услышал. Ладно. Уходить не заплатив – это запросто. Только медленно, чтобы дед мог меня окликнуть, если одумается. Он не одумался.

Следующим утром я перебежал улицу в отличном настроении. Очень, очень хорошее место, объяснял я Siri по дороге. Пять звезд. Отзыв на Google и сделай check-in в Facebook. Siri отказывалась: на ее карте имелся дом номер 713 (вьетнамский японец, сегодня его не было) и дом номер 707 (сетевые мексиканцы, которые сегодня завлекали скидкой в семь процентов). Занести в базу проем между домами она не могла. У старого еврея не было адреса. Отлично. Место становилось лучше и лучше на глазах.

Все было в порядке. Нос нависал, стул пока держался, кофе стоял. Свежий. Я с интересом посмотрел на машину. Ручная, с ручным же контролем температуры и давления. Паровоз. Минуты три на чашку кофе, никак не меньше. Кофе, который я пью, совсем свежий. Совсем. Его налили меньше полуминуты назад, только что его налили. Хозяин понял, что я догадался, и довольно чавкнул губой.

За две почти недели поймать его за приготовлением кофе мне не удалось ни разу. Кофе всегда был готов, когда бы я ни зашел. Утром был готов. Днем было готов (я специально проверял). Ночью было закрыто (это я тоже специально проверял). Дед брезгливо, хотя довольно внятно, говорил по-английски. Он даже выдавил из себя как-то, что Торонто и Варшава – города-побратимы. Когда мне хотелось, я спрашивал. Когда ему хотелось, он отвечал. Иногда он брал деньги. Один раз даже потребовал, с гневной слезой в голосе. Деньги – в смысле просто деньги. Сколько достанется из кармана. Дед нравился мне до слез: когда я вспоминал о нем днем, посреди семинара, у меня щипало переносицу. Я даже потащил было к нему с утра девицу, на которую мой доклад произвел неизгладимое впечатление, но одумался ровно в середине перехода и соврал ей что-то.

Дед был прекрасен, из кусочков вопросов и ответов потихоньку рисовалась картинка. Приехал в Краков после войны из Штатов (я не понял откуда). В Польше были какие-то родственники. Их он не нашел. Жил в Казимеже, в пустом доме – просто зашел в первый попавшийся. Не прижился. Уехал в Варшаву, работал здесь (я не понял где). Фотографии на стене – просто люди. Картинки с «flea market». Здесь я ему не очень верил: на всех лицах – несомненное семейное сходство; для себя я придумал, что он просто унес снимки из того краковского дома, где не смог жить.

Дед становился понятнее и ближе, а загадка с кофе не давалась: при мне хозяин пользовался машиной только однажды – она плюнула в него паром, и я получил шикарную возможность сравнить ругательства венгерского и польского диалектов идиша с оными в английском языке. Дед лупил машину тряпкой, как нагадившую кошку, и переиграл: я понял, что это представление, устроенное, чтобы запутать меня еще больше. Семинар кончался. Siri сообщила, что открыта регистрация on-line на мой рейс, и я пошел сдаваться. Снял сто американских долларов одной бумажкой в банкомате отеля и пошел. Информация стоит денег.

Первый раз за все время у деда был посетитель. Какой-то пижон, он уже выходил, мы столкнулись в дверях. На лице у пижона были написаны восторг, любовь и недоумение. Пижон был одет в синий вельветовый пиджак. Я взял свой кофе и положил взамен купюру. Дед почавкал брезгливо и снизошел. Банально до глупости. Разогреваешь машину и держишь ее на пару. Все клиенты появляются с той стороны. Переход в два приема, долгий. Сидишь на стуле и смотришь на ту сторону. Видишь, что кто-то свернул к переходу и ищет глазами кафе. Идешь к машине, готовишь кофе. Все. Профит.

Он смотрел на меня слезящимися глазами и молчал на своем идише. Я тоже молчал, и мне страшно хотелось украсть у него чашку. На память, ну и просто так. В ответ. Помол-

чав и посопев, дед полез на стенку. Снял фотографию в рамке, вытер тряпкой пыль. Посмотрел на нее (девочка в платье) и на меня (пижон в пиджаке). Спросил, хочу ли я фотографию бабушки Фимы на память. Я ответил, что очень хочу. Он подумал, потом молча повесил память о бабушке Фиме обратно на стенку. Отвернулся и зачавкал губой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.